



РАССКАЗЫ  
для души

Маруся Светлова

# ЖЕНЩИНА ИЗ КЛЕТКИ



ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТО, ВО ЧТО ТЫ ВЕРИШЬ

**Маруся Леонидовна Светлова**  
**Женщина из клетки (сборник)**  
**Серия «Рассказы для души»**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=34048953](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34048953)*

*ISBN 978-5-9928-0067-8*

**Аннотация**

Теплые рассказы для женщин – так можно было бы назвать эту книгу серии «Рассказы для души»

Эта книга о свободе. О свободе быть собой. О свободе любить. О свободе творить. О свободе проживать свою жизнь.

Эта книга о женщине. О женской слабости и женской силе. О вере, помогающей жить. О надежде на лучшее.

Эта книга о женской власти. О даре Божьем, данной женщине, – любить и быть источником любви.

Эта книга о женском счастье. О праве женщины быть счастливой и любимой. Потому что для чего же еще создана женщина?

# Содержание

Солнечное затмение	4
Конец ознакомительного фрагмента.	70

# **Маруся Светлова**

## **Женщина из клетки**

### **Солнечное затмение**

Она пробиралась по пляжу осторожно, боясь кого-то потревожить, наступить нечаянно на чью-то руку или чье-то расстеленное полотенце. Было это сложно – вот так прилично, правильно идти мимо распростертых тел, которые мало думали о том, как разбросаны их ноги и руки, где валяются их шляпы, или очки, или надувные круги, или журналы, пакеты с фруктами. Но она все же умудрялась ни на что и ни на кого не наступить, потому что вообще привыкла делать все правильно, была по-настоящему хорошо воспитанной и приличной женщиной.

Эта ее воспитанность и правильность ужасно раздражала когда-то ее мужа. Бывшего мужа. Он просто из себя выходил, когда она, ни слова не говоря, подставляла ему блюдо, чтобы он не складывал куриные кости на край тарелки, или подкладывала чистую салфеточку под кружку пива, которую он ставил на журнальный стол.

И она делала это не потому, что боялась, что он испортит полировку. Нет, просто так было правильно. Так было красиво. И культурно. А быть культурной и воспитанной мама

научила ее давно и накрепко.

Поэтому в доме ее всегда был порядок. И немытая посуда в раковине не накапливалась, и белье было выглажено и разложено в шкафу на полках в ровные стопочки, и стол она сервировала как надо. И салфетки крахмаленные клала у тарелок, даже нашла в магазине совсем уже забытый в обиходе предмет – кольца для салфеток. И муж, приходя с работы и шумно усаживаясь за стол в ожидании ужина, всегда если и не матерился, то бубнил что-то себе под нос. И самое привычное его выражение, которое она слышала на ее старания сделать все как надо, правильно и культурно, было:

– Слушай, а попроще нельзя!..

Но не умела она делать попроще. Просто была она такой, какой была. Хорошей и воспитанной женщиной. И была она такой везде – и дома, и на работе, и в транспорте.

И все у нее было разложено по полочкам: и ее лекции, которые она читала в институте, и рефераты студентов, и методические материалы. Во всем у нее был порядок – и дома, и на рабочем столе. И на кафедре, где она была доцентом, ее часто ставили в пример как ответственного работника.

И одевалась она прилично, достойно, соответственно ее возрасту. И хотя ей едва перевалило за сорок, но и в помине не было в ее гардеробе каких-нибудь легкомысленных или обтягивающих, или с разрезами вещей.

Носила она строгие костюмы, и платочек носовой всегда был при ней, эта привычка жила в ней с детства – чтобы на-

глаженный платочек всегда был в портфеле или в сумке. И прическу носила она сдержанную, – просто узел волос, без всяких там начесов, челок. И волосы она никогда не красила, ей даже мысль такая в голову не приходила. И разговаривала она с людьми всегда ровно, уважительно, и неважно было, с кем она разговаривает: с завкафедрой, или со студентами, или с гардеробщицей в раздевалке, – говорила она вежливо, культурно.

И жизнь ее в целом была вполне удачной. Потому что, как говорится, все, что ни делается, все к лучшему. На все воля Божья.

А в Бога она верила, верила в его мудрость. Верила в предопределенность всего, что с ней происходит. Поэтому и принимала все происходящее с кротким смирением. И уход мужа восприняла смиренно, хоть и поплакала, что осталась «брошенной». Да ведь действительно, разве такая ему была нужна жена? Ему нужно было что-то попроще, как он и просил.

Он и нашел потом такую – разбитную и веселую женщину, взял он ее с двумя детьми, и она, бывшая жена, узнав об этом, подумала – раз с детьми взял, значит, точно понравилась она ему.

И однажды она увидела мужа с этой женщиной. Случайно взгляд бросила на летнее кафе у парка культуры, когда возвращалась с вернисажа, и увидела их двоих. Они пили пиво, и что-то он ей рассказывал увлеченно, как дома никогда ни-

чего не рассказывал. И женщина слушала его внимательно и хохотала как-то громко, неприлично, не думая, что ее окружают люди. И хохоча, наваливалась на стол грудью, и был этот жест каким-то разболтанным – она бы никогда себе не позволила так себя вести в общественном месте.

И на пластиковом столе перед ними на бумажной тарелочке лежал заветревшийся какой-то шашлык, и лежала пустая пачка от сигарет, использованные салфетки и куски хлеба прямо на столе. И ее поразил этот беспорядок на столе, она бы уже давно выбросила бы все бумажки и салфеточки подложила бы под хлеб и вообще – она бы так некультурно время не проводила. И подумала она тогда все с тем же смирением:

– Ну и слава Богу, что так все получилось... Пусть они пиво пьют и в мусоре сидят... Раз Бог от меня его отвел, значит, так и надо...

И вроде бы даже легче стало ей после того, как она их так нечаянно увидела.

И батюшка ее, к которому она на исповедь ходила и в выходные дни службу его посещала, сказал ей почти то же самое:

– На все воля Божья, – сказал он ей. – Видно, нужно пройти тебе какие-то новые испытания, потому что одиночество для женщины – это испытание. Но раз отвел от тебя Господь этого человека и дал тебе это испытание, – есть в тебе силы его проходить...

И она проходила это испытание, хотя, если быть честной, – никакого такого испытания она в своем одиночестве не чувствовала.

Жизнь ее уже была упорядоченной и простроенной. И не обремененной никакими обязательствами.

Дочь жила где-то своей жизнью. Второй год была замужем. Выскочила она замуж неожиданно быстро и укатила за мужем, выпускником военного училища, в Ижевск и жила там, почти о себе и вестей не подавая.

С дочерью никогда не были они особенно близки. Да и вообще – мать из нее как-то не получилась. Сначала писала она кандидатскую диссертацию, потом – докторскую. Потом была председателем методической комиссии. И как-то так получалось, что дочь была больше на продленке или с бабушкой, матерью бывшего мужа, особой не очень-то строгих правил, не требующей четкого распорядка дня, мытья рук, организованности, всего того, что требовала от нее мать.

Поэтому дочь свою не смогла она, не успела воспитать правильной и воспитанной, ответственной девочкой. Поэтому та и замуж выскочила так легкомысленно. Не подошла ответственно и серьезно к столь важному шагу. Пришла и заявила:

– Я его люблю... Куда он, туда и я...

И было ей, матери, непонятно: ну и люби на здоровье, зачем же сразу жениться? Подожди, пока он на новом месте устроится, еще неизвестно, куда его там направят, может, в



глухомань какую?

Но на все ее правильные рассуждения дочь только плечом упрямо поводила и говорила:

– Тебе этого не понять...

И было что-то в этом «тебе» что-то отстраненное, высокомерное. Как будто дочь знала что-то такое, чего она, ее мать, не знала, – не дано было ей знать. А что такого она не могла знать?

И она перестала уговаривать дочь. Решив, что на все воля Божья. Пусть все будет как будет. И они женились. Но даже свадьбу отмечать не захотели, нарушив все мыслимые правила приличия. И так неудобно было перед знакомыми и соседями, что дочь как-то не по-человечески вышла замуж. Ну да что теперь об этом говорить? Все уже произошло.

И жила дочь где-то там, вдали, своей жизнью. А она тут – своей. Привычной, расписанной, ясной и понятной.

Закончились все хлопоты, связанные с разменом квартиры, на котором настоял муж. Закончились хлопоты и заботы, связанные с переездом в новую чистенькую квартиру. И квартира эта, хоть и в отдаленном районе, в новостройке, и пока без телефона, – нравилась ей. И все теперь в ней стояло на своих местах, все было в порядке, как будто прожила она в ней всю жизнь.

Она просыпалась без всякого будильника в строго определенное время. И завтракала, красиво разложив на тарелке кусочки сыра и ветчины, подложив салфетку под чашку с

кофе, с накрахмаленной салфеткой на коленях.

И собиралась на работу, одеваясь строго и прилично. И почти не красилась, слегка только, чуть заметно подкрашивала губы, потому что были они у нее какими-то бледными от природы. И ехала на работу двумя видами транспорта, в толчее стараясь никому не причинить неудобства, никого не толкнуть или задеть нечаянно. И на работе – читала лекции, ровным тоном разговаривала со студентами. Отсиживала положенное время на кафедре, находя для себя занятие, – что-то разложить по папкам, классифицировать, привести в порядок. И домой шла по привычному маршруту, заходя в магазин за творожком или куриным филе.

А дома – домашние дела. Ужин за сервированным столом. И никто не говорил ей:

– Слушай, а попроще нельзя...

А потом – выпуск новостей, какая-нибудь передача на телеканале «Культура» и чтение книг. Читала она в основном классику, приучена была с детства к хорошей, признанной литературе. Потом – засыпала легко, почти ни о чем не думая, и даже хорошо ей было спать одной. Никто не мешал, не закидывал на нее во сне руку или ногу, никто не приставал к ней со всякими глупостями.

Так день сменялся днем. И не очень все это изменилось, когда уехала она в отпуск в красивый город у моря, с видом на горные долины.

Но ни вид на горные долины, ни море с его соленым за-

пахом, ни сувенирные палатки со всякой всячиной, начиная от раковин, кончая дурацкими сувенирами в виде каких-то пошлых пепельниц, похожих на вскрытые ржавые консервные банки, не изменили ничего ни в ней самой, ни в ее правильной жизни.

И с собой она взяла томик Тургенева.

И жизнь в пансионате, приличном и чистом, ничего не изменила в ее режиме. Она просыпалась в одно и то же время, гуляла по территории. Потом завтракала в чистой и приличной пансионатской столовой, где подкладывала под чашку салфетку, а на колени клала салфетку.

И одежда ее была такой же приличной. Простое, без выкрутасов ситцевое платье. Сарафан на широких лямках хоть и открывал плечи, выглядел вполне прилично. И соломенная сумка, купленная уже здесь, на пляже, была спокойных, нейтральных тонов. И вся она была неброской, приличной, обычной, порядочной женщиной, которая знает, как себя вести в любых ситуациях. И была защищена всем своим видом и поведением от каких-то легкомысленных и глупых поступков.

...Солнце палило нещадно, и уже за неделю лежания у моря под лучами солнца она загорела – покрылась ровным розовым цветом. И лениво думала она, лежа на солнце: скоро загар этот потемнеет, и вернется она в Москву загорелой, шоколадной, сразу будет видно, что человек с юга вернулся.

Ей нравилось здесь отдыхать. Нравилась упорядоченность всей ее жизни. Нравилось просто лежать, ни с кем не общаясь, не разговаривая, не знакомясь. Зачем ей были нужны все эти кратковременные знакомства, не говоря уже о курортных романах?

И наблюдая иногда со стороны, как кадрият молодые, да и не молодые мужчины женщин, как к вечеру стекаются на набережную группы приодетых мужчин и женщин, глядя на загорелые лица женщин, на которых немного странно смотрелась косметика, она думала:

– Народ ищет себе проблемы... Что хорошего может получиться из такого вот курортного знакомства?..

И громкая музыка не звучала для нее призывно, огни пляжных кафешек и ресторанчиков ее не манили. Она вела спокойную и размеренную жизнь, в которой ее ничего не трогало и не волновало.

Единственное, что вызвало у нее неподдельный интерес – это весть о предстоящем солнечном затмении. Что-то было магическое в самом сочетании слов «солнечное затмение», что-то противоречивое.

Потому что как может Солнце быть чем-то затемнено? Оно же – Солнце. Но – солнечного затмения ожидали, и стеклышки уже продавали за день до затмения, и она тоже купила такое закопченное стеклышко, потому что действительно интересно, увидеть, как Солнце на несколько мгновений скроется и наступит тьма.

И в день затмения она почему-то встала взволнованная, как будто что-то действительно важное должно было произойти. Она много читала, вообще была начитанной и эрудированной женщиной. И в молодости читала эзотерическую литературу, интересовалась астрологией и знала, что само по себе затмение может ознаменовать больше, чем простое совпадение траекторий Солнца и Луны.

Это – затмение. ЗАТМЕНИЕ. Тьма побеждает свет. И – что-то подобное может происходить и с сознанием людей.

И подумала она даже, уже идя на пляж, может, не смотреть на это затмение, а то – вдруг чего...

Но сама отмахнулась от этой мысли.

На все Божья воля. И затмение тоже по Божьей воле происходит. Значит, должны люди и это принять, и, может быть, понять что-то важное в этом затмении.

Поэтому, когда все со стеклышками своими повставали и на Солнце уставились, она была среди этих людей.

Так же старательно, затаив дыхание, смотрела, как исчезает постепенно диск Солнца, как закрывает его диск Луны – и жутковато ей было.

И – это свершилось. Не стало Солнца. Просто исчезло оно. И – ничего не произошло. Ничегошеньки больше не произошло.

Просто оно сначала исчезло, потом так же потихоньку появилось.

И она повернулась, чтобы идти домой, наклонилась, что-

бы вещи свои с пола поднять, и – толкнула его нечаянно, нечаянно, но сильно, просто боднула его головой куда-то в живот, потому что он тоже в этот момент за чем-то наклонялся. И сказала обеспокоенно, тревожно, так неудобно было ей, правильной и воспитанной, обидеть кого-то, даже нечаянно:

– Господи, вы меня простите, пожалуйста, я не хотела... Я вас ударила...

И в глаза ему посмотрела. И увидела взгляд его какой-то насмешливый, как будто он только ждал, над чем бы ему засмеяться. Он и засмеялся, раскатисто как-то, так, что на них даже люди обернулись. И она стушевалась, и от этого смеха, и от людского внимания, и оттого, что просто не понимала, что смешного она сказала, чего он так развеселился. А он, запрокинув голову, хохотнул пару раз, прекратил свой хохот как-то резко и почти серьезно, глядя ей в глаза, сказал:

– Она меня ударила... – и опять какие-то смешинки в его глазах появились. – Она меня ударила... – И опять сказал он как-то серьезно, как будто тайну ей какую-то открыл, – да меня знаешь как били...

И слова эти, неожиданные, и это «знаешь», как будто говорил он с ней как со своей близкой знакомой, и это «били», – все это ее огорошило, и она еще даже не поняла, как отреагировать на эту фамилльярность и эту простоту, как он взял ее руку и сказал опять серьезно, но со смехом в глазах:

– Ну, вот стукни меня, стукни, можешь побольнее заша-

рашить, думаешь, мне больно будет?..

И он сомкнул ее ладонь в кулак, только она, находясь в каком-то ступоре от всего, что он только что наговорил, от этого его жеста, слишком уж свободного, что ли, – никакого кулака не сомкнула, и он стукнул себя ее рукой по животу, – был он твердым, плотным, и весь сам он был крепкий, сбитый, она как будто только сейчас увидела его всего. Здорового крепкого мужчину, загорелого, какого-то нагловатого, что ли.

Что-то было для нее непонятное в нем, в его лице с сильными скулами, с едва заметным шрамом на скуле, с руками, сила которых угадывалась даже под футболкой, – и с наколками на пальцах. И эти наколки, давно уже ею не виденные, просто негде ей было видеть такие наколки, почему-то ее окончательно смутили. Даже не испугали, не отрезвили – смутили.

Потому что теперь она вообще не знала, как ему отвечать, нужно ли вообще что-то отвечать таким вот, как он. И она просто руку из его рук убрала, и вещи взяла, аккуратно приподняла их с пола, смотря на него, не зная, чего от него ожидать. И – повернулась, чтобы идти. Но он опередил ее, сказав все так же весело:

– Да ладно, чего уж там, не смущайся, дело житейское...

И она вообще не поняла, к чему относится это «дело житейское»... То ли к ней и ее смущению, то ли к тому, что она его по животу нечаянно ударила. И она кивнула ему, просто

не понимая, как еще можно на все это реагировать, и пошла, торопясь уйти от него, как от чего-то опасного и – непонятно. И услышала сказанное уже ей в спину:

– Еще встретимся!..

«Помилуй, Боже!» – тут же отозвалось в ней, потому что – только его, такого вот странного типа с наколками и не хватало ей для полного счастья...

Они встретились тем же вечером, встретились случайно. А может, и не случайно? – часто потом думала она. Может, он ее поджидал или выслеживал? Но неожиданно как-то возник он около нее, когда она с пляжа уже собиралась уходить, и сказал бодро как-то, по-боевому:

– Ну что, рабочий день на пляже кончился? Пора домой?

И взял из ее рук, просто забрал, как свое, полотенце ее пляжное и сумку. И сказал опять весело, как-то озорно:

– Ну, пошли, провожу, чтобы веселее было...

И она – даже не нашла, что ответить. И пошла за ним, подумав, вот так крысы за мальчиком, играющим на дудочке, пошли, и не захотела быть крысой, но шла, а он шел – и играл.

Он балагурил и хохотал заливисто, вкусно так хохотал, как она никогда в жизни не смеялась. Он весь отдавался смеху, он смеялся громко, так, что оборачивались люди. Он весь смеялся, и она, как будто бы впервые увидев такого живого, естественного, свободного человека, смотрела на него со



смесью тихого ужаса и интереса, и – непонятно было, как вообще к этому всему относиться и как от него теперь отвязаться....

...Отвязаться от него не удалось. Невозможно было от него отвязаться, потому что была в нем какая-то бесшабашная веселость, распахнутость, так что просто язык у нее не повернулся сказать ему что-то правильное, строгое:

– Спасибо за помощь, я уже пришла...

И добавить приличное:

– Приятно было познакомиться...

Просто невозможно было это ему сказать, потому что он на все эти ее слова, наверное, взял бы ее за плечи двумя руками, встряхнул хорошенько и сказал:

– Чего так строго, Надюха!..

Он еще по пути к пансионату спросил, как ее зовут, и она, кротко и покорно, как кролик, сказала – Надежда, и он сказал все с той же улыбкой:

– Ну вот и славно, – имя какое хорошее...

И запел, громко, не стесняясь своего голоса:

– Надежда – мой компас земной...

И остановил свое пение, сказав:

– А я – Павел...

И добавил:

– Просто Павел...

И засмеялся опять, как будто что-то смешное было в этом

«просто Павел».

И он тут же переделал ее имя в Надюшу, и так и обращался к ней, рассказывая какие-то свои байки:

– Так вот, Надюша, представляешь, а он мне и говорит...

И она несколько раз порывалась сказать ему все тем же строгим и приличным голосом:

– Пожалуйста, не называйте меня Надюшей...

Или:

– Какая я вам Надюша?..

Но – не говорила, боясь, что он в ответ только захохочет, было что-то в нем непонятное, сумасшедшее, и следа приличия, привычного и правильного поведения не было в нем, и она, как потерялась в первую минуту, так и не нашла, как с ним быть до самого пансионата.

И не смогла остановить его, когда он решительным шагом, как к себе домой, подошел к ступенькам в корпус, запротестовала она как-то слабо, опять же воспитанно как-то, прилично, сказав:

– Спасибо, ну вот я и пришла...

Только он даже не заметил ее слов, прошел в двери, прошел в холл, все так же неся в руках ее пляжное полотенце и сумку, и шел он уверенно, как будто шел к СЕБЕ в номер. И она, со всей своей воспитанностью и хорошими манерами, просто не нашла, как его остановить.

И даже когда ключ в замок вставила, не нашла, что сказать и как не пустить человека, который уже стоял на пороге

ее комнаты.

И подумала как-то быстро и обеспокоено: он потому и делает все, как он хочет, что я веду себя прилично, по правилам, а он о приличиях и правилах и знать не знает...

Но, когда вошел он в ее комнату, бросив в кресло сумку с полотенцем и по-хозяйски как-то осмотрел его, вышел на лоджию, почувствовала она такую тревогу, такое беспокойство, как будто впустила в эту комнату не просто почти незнакомого ей мужчину, а что-то взрывоопасное, неуправляемое.

Что-то опасное было в его поведении, в его манере говорить, в его свободе. Что-то непонятное, от чего она терялась и пасовала. И она, еще не осознавая, в чем опасность, поняла – нужно его отсюда увести. Нельзя с ним здесь оставаться. И как бы собравшись с мыслями и силами, сказала бодрым голосом то, что давно уже хотела сказать.

– Ну вот и спасибо, что проводили... Мне нужно собираться на ужин... У меня ужин через десять минут...

И добавила для убедительности:

– У нас тут все по расписанию... Я могу опоздать...

А он, подойдя к ней, взглянул на нее опять с какой-то смешинкой в глазах и сказал:

– Да ладно тебе, слышь, Надь. Ну что ты заладила – расписание... Будь проще, какое расписание может быть у свободных людей?

И опять захохотал, весело как-то, радостно:

– Мы же с тобой свободные люди, Надя... Свободные, – сказал он это слово с каким-то своим скрытым смыслом, и она покосилась на его руки с наколками и подумала – что-то они значат ведь, эти наколки.

«Он, наверное, сидел... – подумала она и испугалась вдруг, что только сейчас поняла это. – Он же, наверное, – сидел в тюрьме...»

И – поняла, откуда это ощущение опасности. Ощущение опасности, что он тут, в ее комнате, с ней наедине.

И подумала – сейчас же нужно его отсюда увести, сейчас же.

И произнесла мягко, примирительно, как говорят с кем-то, чья реакция может быть непредсказуемой:

– Ну, расписание не расписание, а на ужин все равно нужно идти...

И он, как будто догадавшись, все-таки вспомнив какие-то правила приличия, сказал ей, широко улыбаясь:

– Тебе переодеться надо? Так давай, я тебя внизу в холле подожду...

И вышел, крепко хлопнув дверью. И она дверь эту быстро, нервно как-то закрыла. И села на кровать. И – застыла на несколько минут. Потому что – это же надо было так влипнуть!

И подумала вдруг с ужасом, что он, наверное, уголовник. И сразу стало понятно все его поведение, какая-то оторванность его, что ли. И подумала она, радуется он, наверное, что

теперь на свободе...

И еще с ужасом, со стыдом подумала она:

– Это кому рассказать, что она, культурный, уважаемый человек, – и познакомилась с уголовником!..

И почему-то возник перед ее глазами образ завкафедрой, Лилии Сергеевны. И подумала она потрясенно: «Знала бы она, что лучший работник ее кафедры, доцент, председатель методического объединения – с уголовником расхаживает по городу, да еще и в свою комнату его приводит...»

И все ее приличное воспитание в ней взбунтовалось, возмутилось – да что же это такое, в конце концов! Почему она ему позволила за ней увязаться? И опять подумала: да потому что очень воспитанная, правильная, а он никаких правил не понимает, он – наглый, безо всякого воспитания и безо всяких норм приличия. Он – дикий какой-то. И на секунду испугалась даже – как ей воспитанной и приличной женщине справиться с этой дикостью, необузданностью?

И испугалась она всего происходящего, даже слезы появились на глазах, и тут же вспомнила, что ждет он ее внизу, и новая волна испуга поднялась в ней: сейчас, не дождавшись ее, он поднимется опять, и постучит в дверь, и что она должна сделать? Открыть – нельзя, не открыть – неприлично, он же шум поднимет, что о ней люди подумают...

И мысль эта подняла ее с места, и она с какой-то хаотичной скоростью, сорвала с себя сарафан и купальник, быстро переоделась, быстро прошла по растрепанным волосам

щеткой, заколкой их закрепила в тугой узел на затылке, сумку схватила – и вышла из номера. Вышла с сильно бьющимся сердцем, но – уже спокойнее ей было, что она – вне номера, что туда он не зайдет. А тут, на людях, он ничего с ней сделать не сможет, и как-то она от него отвяжется. И подумала она вдруг – мне Бог поможет... На все Божья воля... Все будет хорошо...

Он встретил ее улыбкой. Радостной открытой улыбкой, мол, ждал он, ждал ее и наконец она появилась...

И она, увидя эту улыбку, опять как-то стушеввалась. Потому что давным-давно никто ей так радостно не улыбался. Точнее никогда и никто так радостно ей не улыбался. Даже будущий муж во время их первых встреч не улыбался так открыто. Был он сдержанным, как нормальный мужчина. И потом в семье – был сдержанным на чувства и на ласки.

А тут – улыбка на пол лица – и кому, и почему? Кто она ему?

Непонятно все это было. Непонятно и тревожно. И в этих чувствах она и направилась к административному корпусу, в столовую. Он шел рядом, и подумала она:

– Господи, вот дойду до столовой и отвяжусь от него...

Но – не дошла.

Просто не дошла она до столовой. Потому что он остановился, и ее остановил, просто взял ее за плечи, развернул к себе и заговорщицким каким-то голосом, с улыбкой своей

шальной, глядя ей прямо в глаза, сказал:

– Слышь, Надь, да ну ее, эту твою столовую, твой ужин по расписанию... Зачем тебе все это надо? – И, наверное, увидев непонимание, удивление на ее лице, добавил:

– Нужно жить – радостно, понимаешь?... – И произнес еще раз, растягивая это слово, как бы получая от него удовольствие, смакуя его: – Ра-до-стно... А чего там радостного, в твоей столовой и твоём пансионатском ужине – биточки паровые с гречневой кашей?..

И, развернув ее в другую сторону, сказал:

– Пошли, Надюша, гулять! Я приглашаю!

И в этом его «я приглашаю» что-то такое прозвучало, что она не смогла отказать. Или не захотела?

Ведь, действительно, – какая радость в паровых биточках и гречневой каше? Какая радость?..

...Она сто лет не была в кафе. Она сто лет не была в ресторанах. Она сто лет не была в кафе или ресторанах с мужчиной. И никогда – с чужим мужчиной.

Она попала в мир, неизвестный ей, доценту, преподавателю престижного вуза. В мир, в котором был другой свет, другой запах, другая музыка. В котором были другие правила, которые ей вообще были неизвестны.

Это была другая жизнь, и рядом сидел другой человек, так она и подумала о нем в какой-то момент: «Господи, да он вообще – другой... Как инопланетянин. Как существо с

другой планеты с другими представлениями, другими понятиями...»

Ресторанчик этот, в который он ее привел, был обычным пляжным ресторанчиком, десятки их были разбросаны по набережной у моря. И стояли в нем пластиковые столы и стулья, и на столах стояли простенькие горшки с полевыми цветами. И ромашки эти и синенькие какие-то колокольчики странно смотрелись тут, в каком-то измененном от цветомузыка свете, и чужими они казались в этой кричащей музыке.

И она подумала: «Я тут тоже чужая, разве мне тут место?»

И вспомнила вдруг своего бывшего мужа с его пассивностью за таким вот пластиковым столом, и подумала – ну я и опустилась. И подумала еще возмущенно: «Разве я должна ходить по таким забегаловкам? И сидеть с каким-то проходимцем?...»

Но, посмотрев на «проходимца», она опять как-то растерялась.

Был он радостным. Был он сильным. Что-то властное было в нем, в скулах его, в развороте головы. Был он каким-то настоящим, что-ли, природным. И следа культурности, цивилизованности не было в нем. И было что-то привлекательное в нем. И – опасное. Очень опасное.

И здесь, в этом пляжном ресторанчике, чувствовал он себя как дома. Хозяином он себя чувствовал. Как будто попал он в свою стихию, попал туда, где его место. И заказ он сделал быстро и легко, как будто уже сто раз заказывал тут еду,



и подумала она неприязненно: «Господи, для него это так привычно... Он, небось, всех своих баб сюда водит, я у него, небось, тысячная...»

И мысль эта показалась ей неприятной, и она даже сама удивилась – что ее эта мысль задела, как будто бы ей не все равно, кого он сюда водит.

«Да мне вообще до него нет никакого дела...» – сказала она сама себе, и сама себе не поверила. Не было бы ей дела до него – не сидела бы она с ним, в каком-то дешевом ресторанчике.

И она посмотрела на него, как бы пытаясь понять, почему до сих пор она от него отвязаться не может. Почему не может просто и строго сказать:

– Все, спасибо за компанию, но я, знаете, люблю отдыхать в одиночестве...

Или:

– Спасибо за компанию. Но мне нужно идти. У меня есть дела...

Или:

– Знаете, не хочу я ужинать, вы оставайтесь, а я пойду...

Но – ничего этого она не сказала. Может, потому что подошла официантка с заказанной едой. Может, потому что решимости не хватило.

Да и сказать она на самом деле ничего бы не успела, потому что он, наполнив рюмки коньяком, сказал все так же весело:

– Ну что ж, Надюш, за нашу замечательную встречу...

И она, даже рюмку не подняв, промямлила как-то:

– Спасибо... Но я не пью...

И, смутившись окончательно от всех своих мыслей и своего мямленья, добавила:

– Я вообще не пью...

И он, изумившись, как если бы она сказала что-то невозможное, невысказанное, что говорить было нельзя, – сказал убежденно:

– Надюш, да ты что! За знакомство не выпить – это же запаadlo!

И «запаadlo» это было сказано таким непрекаемым тоном, и слово само было так странно для нее, так неприемлемо, что опять растерялась она, не зная, как ответить на это «запаadlo». Скажи он что-то нормальным, культурным языком, она бы ответила, аргументы бы привела. А тут – «запаadlo»...

И она сказала то, что меньше всего сама от себя ожидала услышать:

– Ну ладно, только немного... Я пить-то не умею...

– Лиха беда начало, Надюш... – сказал он весело. – Все сначала не умеют. Потом – оторваться не могут...

И он захохотал, как будто сказал что-то очень смешное, и она тоже улыбнулась. Хотя чему тут было улыбаться...

Музыка гремела так, что было неслышно друг друга. И

он наклонялся к ней, чтобы что-то сказать, и привлекал ее к себе, беря за плечи, и она сначала поводила плечом, как бы сбрасывая эту руку, потом, после нескольких рюмок коньяка, – показалось ей вполне естественным, что он ее так привлекает к себе, ведь действительно – не слышно же ничего.

А он все что-то говорил, рассказывал про какого-то кореша, который вот так же однажды сидел со своей дамой в ресторане, а его менты тут же и взяли. И оказалось – зря взяли, выпустили потом. Только дамочка его – тютю, смылась, потому что испугалась, что он – уголовник какой. А какой он уголовник, нормальный мужик, ну ходку сделал, дал кому-то по морде за дело...

И она, сначала шокированная этими его рассказами, сама не заметила, как в какой-то момент перестала им изумляться. А просто слушала увлеченно, как передачу «В мире животных» смотрела. И думала: «Господи, – всюду жизнь, всюду – своя жизнь...»

И казалось ей сейчас, расслабленной какой-то, заторможенной, что вот дослушает она его, и встанет, и уйдет, и будет потом в Москве рассказывать на кафедре, как столкнулась с одним удивительным субъектом из совсем незнакомо-го ей культурного слоя. И обсудят они его рассказы, и образ жизни таких вот «инопланетян» с их примитивной жизнью и примитивными понятиями.

И мысли эти были прерваны его уходом. Просто поднялся он и отошел от столика, и она не сразу поняла, куда он. А он

уже стоял около парня и девушки, поющих в этом ресторанчике живую музыку. И договаривался о чем-то. Потом деньги протянул и отошел от их столика довольный.

И сел к ней и опять за плечи притянул, и не успел ей еще ничего сказать, как раздалось громко и с какой-то пошлой курортной интонацией:

– Следующая песня прозвучит для нашей очаровательной гостьи из Москвы с прекрасным именем Надюша...

И опомниться она не успела от этой какой-то глупой его, купеческой выходки, как зазвучали слова: «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома...»

И она уже танцевала с ним, в его объятиях. И объятия эти – были тесными, близкими. И он прижимался скулой к ее виску, и руки его властно как-то держали ее, и одна рука держала ее слишком низко, почти за ягодицу.

И все это было непонятно – и музыка неподходящая, чтобы под нее танцевать, и сам этот танец, какой-то слишком уж... И она не нашла подходящего слова, потому что вообще как-то плохо ей стало думаться.

Мысли ее путались, и как будто отрывками она стала все воспринимать.

Потом – опять сидели они за столиком, и он вдруг привлек ее к себе, и заколку из ее волос вынул, вынул неумело, дернув ее за волосы, и волосы ее длинные рассыпались по плечам, и она почувствовала, что краснеет, как девочка, потому что такой вот, с распущенными волосами, она была только перед

постелью или в постели, и никогда — на людях.

А он вдруг отломил несколько ромашек прямо из вазы, воткнул ей в волосы и сказал:

— Вот теперь ты похожа на женщину... На красивую женщину...

И она смутилась опять — непонятно от чего. От этого неприличного поступка — взял из общественной вазы цветы или оттого, что он украсил ее, увидел в ней женскую красоту, которой давно уже никто не видел...

Потом увидела она, как сидели они за столиком, и он обнимал ее, как обнимают собственность, накинув на нее свою руку, и говорил:

— Давай выпьем, Надюш, живем один раз... А жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...

И захохотал, когда сказал это. И она засмеялась...

Потом — опять увидела она себя как бы со стороны, танцующей с ним, и песня опять была для нее, Нади, заказана. И — странно это было, потому что никто никогда для нее песни не заказывал. И парень пел каким-то мужественным голосом: «Владимирский централ — ветер северный...», и девушка вторила ему нежно: «Этапом из Твери — зла немеряно...». И он, Павел, подпевал, и было видно, что трогает его песня эта, близка она ему...

И дальше виделось ей происходящее совсем уже со стороны. Потому что выпили они опять за дружбу. И за любовь.

– За любовь – сказал он проникновенно. И добавил: – Потому что главное это, Надюша, главное! Самое правильное это, чем люди должны заниматься!..

И потом видела она, как он приобнимал ее за плечи и говорил:

– Хорошая ты баба, Надюша, не то что шалавы эти, которые сюда и едут, чтобы мужика себе найти. Ты – другая, Надя... Порядочная женщина, – с уважением говорил он ей, прижимая ее к себе теснее. – И за это надо выпить...

И смешно ей было, что пьет она за свою порядочность...

И потом видела она себя с ним, идущими в обнимку, – и весело ей было так идти. И хохотали они отчего-то, и казалось им смешным все, что они видели по пути, – перекопанная дорога, которую нужно было переходить по досточке, и худая какая-то собака, спящая на лавочке у калитки.

И когда входили в его двор, старались не смеяться, но смешно было как раз то, что нужно было не смеяться, и он говорил шепотом:

– Мамаша уже спит, нужно тихо... – и опять начинали они хохотать...

И когда вошли они в маленький домик и он сказал:

– Это была временка, да так и осталась временкой, – и они просто зашлись со смеху...

Потом видела она себя уже совсем странно, как будто и не себя она видела, – стоящей на коленках поперек панцирной кровати, и коленкам было ужасно неудобно, просто больно

было ее коленкам, а он говорил каким-то глухим голосом, и сила была в его голосе, и напор:

Прогнись сильнее... Наподдай, Надя... Наподдай, девочка... Наподдай, моя кошечка... Давай, работай...

И она, даже не понимая это «наподдай», – наподавала. И он, входя в какой-то бешеный темп, держал ее бедра своими руками, и входил в нее как-то яростно, и она в бешеном этом движении видела прямо перед своим лицом стенку, и казалось ей – вот-вот воткнется в эту стенку лицом... И он шлепал ее по задку, как кобылу подгонял, и она торопилась, и стена эта наезжала на ее лицо все быстрее и быстрее...

...Все коленки ее были в синяках. В таких откровенных синяках, что она даже зажмурилась, когда увидела их. И начала тереть их мочалкой, как будто можно мочалкой оттереть синяки на коленках.

И она заплакала, стоя под душем в своем номере, и плакала, и терла эти синяки мочалкой, и пока они были в мыльной пене, казалось, что они не так заметны. Но – никуда они не девались, эти синяки, и были они ужасные и пошлые.

И она вспомнила вдруг увиденную давным-давно в вокзальном переходе женщину, опустившуюся, с испитым лицом и с какими-то синими ногами. Все ноги ее были в синяках, и она, увидев ее, ее страшные какие-то ноги, сказала мужу испуганно:

– Ее что, били?

– Букву «е» добавь, вернее будет... – мрачно сказал ей муж.

И она сначала не поняла, что он этим хотел сказать, но, поняв, поджала недовольно губы, – не терпела она пошлости и вульгарщины. И теперь – она сама стояла с такими синими ногами. И казалось просто невозможным, чтоб с ней это случилось. Но это случилось. Ее саму е-били...

И слово это, пока она стояла под душем, застряло в ней и повторялось в ней. И она заплакала, заплакала отчаянно, и плача, размазывая слезы и смывая их мочалкой, как бы отмываясь от всего произошедшего, она вдруг подумала, вспомнила – нет, ее не только «е-били».

Не только. Не так...

И вспомнила она свое резкое какое-то пробуждение, когда проснулась, вдруг, как от толчка, и голова ее лежала на его руке, и уже светало, и она, как бы изумившись этой мужской руке, плечу, на котором лежала, дернулась, и он проснулся и спросил заботливо:

– Что, Надюш, неудобно?.. – и – голову ее к себе притянул, чтобы удобнее было, и обнял, и – к себе прижал, и было это объятие уютным, как будто любимый ее обнимал, и она тоже его любила.

А потом он ее любил. Нежно как-то входил в нее, и странно все это было, и внове – незнакомое какое-то в рассветном свете лицо мужчины над тобой, и взгляд его, как будто проникающий в тебя, что-то там в тебе рассматривающий,



и ветка виноградная билась в окно, и солнечные лучи уже падали на изголовье кровати, а он все продолжал двигаться в ней, и казалось ей – что он ее колыбелит, что они вместе в какой-то плавной и медленной колыбели, и потом движение это прекратилось, и она заснула и проснулась уже, когда солнце заливало комнату, и он спал крепко, и она просто выскользнула из постели и, не дыша, с бешено бьющимся сердцем оделась и сделала шаг из времянки. И дальше – почти побежала. И бежала какое-то время, как будто он ее догонял, как будто необходимо было убежать откуда-то.

И придя к себе, сразу пошла в душ – и синяки эти ужасные были как ушат холодной воды. Потому что, оказывается, не так-то просто убежать оттуда, откуда ты хочешь убежать. Ты как будто убежала, но синяки эти тебе не дают убежать, они тебе напоминают, и долго еще будут напоминать, что ты натворила...

И подумала она вдруг с ужасом и каким-то отвращением к самой себе: как же она могла – вот так, по-животному, стоя на коленках, подставляя себя этому самцу... Как могла она так бесстыдно отдаваться, так «наподдавать»? Ведь никогда она такой не была. Всегда были в ней сдержанность и стыдливость, и – приличия какие-то она соблюдала. И хоть с мужем и прожила много лет, так и не научилась обнажаться перед ним, и – свет всегда выключала, прежде, чем заняться «этим». А тут... Как же она так могла?

И обескураженно ответила сама себе:

– Пьяная была...

И – ужаснулась этой фразе. Она – и пьяная.

И опять подумала она тоскливо: «Господи, прости, Господи, прости, что же это я натворила...»

И еще подумала как-то обреченно, что так просто все это не кончится. Что от него теперь не отвяжешься. И – нужно что-то решать. И решать быстро, сейчас, – что делать дальше. Как с ним дальше быть.

И даже сама формулировка ее возмутила – как это с ним быть, как можно с ним быть?! Случившееся – просто кошмарная, ужасная ошибка, злой рок, и это – не должно повториться. Никогда и ни за что.

И подумала она – нужно уехать. Нужно просто вещи собрать и сегодня же уехать. И так жалко ей стало своего отпуска, и денег, и этого чистенького номера, и моря. Но вся эта жалость – не перевесила. И она подумала спасительно:

– Ну вот и уеду... И – ладно... И – хорошо... Вот и выход... Вот и выход...

И она стала как-то суетливо вещи из шкафа доставать, и тут только подумала с ужасом: «Господи, он же знает, где я живу, ведь притащится же, и что тогда? И что – тогда?» – и не знала она, как самой себе ответить.

И подошла к зеркалу, как будто бы нужно было ей с кем-то посоветоваться. Она посмотрела на себя, на лицо свое, тревожное, но какое-то светящееся, и губы ее изумили ее, как будто впервые она их увидела.

А она такими и увидела их впервые.

Не ее это были губы. Припухшие, сочные какие-то в своем цвете, живые, яркие губы женщины.

И опять вспомнила она – лицо его над собой, и плавную эту колыбель, и поцелуи, в которых губы их сливались, как будто растворялись друг в друге и в то же время наполнялись друг в друге.

И после этого воспоминания вообще не знала она, что делать. И просто сидела в какой-то прострации. И в этом состоянии и застал ее стук в дверь.

И она сразу поняла, что это он.

И замерла.

И дышать перестала.

И он застучал сильнее, и требовательно как-то крикнул: – Надюш, открой, это я – Павел...

И она – на секунду даже уши закрыла ладонями, как будто этот детский жест мог спасти ее от его прихода. И тут же разжала ладони. Потому что опять проснулась в ней воспитанная и порядочная женщина, и не дело это было, что стучал он и кричал на весь коридор. Что о ней могли подумать?..

Она подошла к двери, вздохнула глубоко, как перед каким-то важным действием, и дверь открыла. И он, сделав шаг в комнату, обнял ее тесно-тесно, близко-близко, и, заглядывая ей в глаза, улыбаясь той же открытой, непонятной ей улыбкой, сказал:

– А я проснулся – нет тебя, я даже подумал – приснилось

мне все, что было. Но – не приснилось... Не приснилось? – спросил он ее, спросил как-то игриво, радостно, как бы в сообщники ее брал, и ждал подтверждения, что она тоже рада тому, что не приснилось.

И она молчала, молчала, растерявшись под этим натиском непонятной ей радости и детскости. Но подумала опять с каким-то тихим ужасом:

– Он ведь, наверно, сидел... Он – уголовник.

Но уголовник этот объятия не размыкал, прижимал ее к себе плотнее и сказал уже как-то по-другому:

– Хорошая ты баба, Надюша, ой, хорошая... Только замороженная немного... Но ничего, я тебя разморожу... Я тебя всю разглажу... Всю тебя заласкаю... Всю тебя...

И она, как бы боясь слова, которое он должен сказать, сама вырвалась из его рук и сказала только то, что придумалось, только чтобы сказать что-то...

– Погода сегодня хорошая...

– Погода – высший класс! – как-то радостно, даже восторженно сказал Павел, и она опять удивилась его радости. Казалось, эта радость просто жила в нем, и все, что он видел, что его окружало, вызывало в нем радость. И опять подумала она как-то тревожно – насиделся, небось, по свободе натосковался, вот и радуется всему, как ненормальный.

А он опять подошел и обнял ее как-то уже по-отцовски и в глаза заглянул, и сказал неожиданное:

– Ты, наверное, в себя прийти не можешь... Все у нас –

так быстро... – И добавил: – Я сам, как встал, понять не мог – было у нас чего или не было... И так чудно это, что все было...

И ее поразила его интонация и то, что для него это все тоже странно. И как-то успокоило это ее. Успокоило, потому что раз так, – не подлец он какой-то, не маньяк, не развратник. А вот тоже – вляпался.

И он, как будто почувствовав все ее мысли и сомнения, сказал убежденно, как клятву произнес:

– Надюш, ты не переживай, на все – воля Божья. Все мы под Богом ходим, и ему там, – он показал на небо, – виднее, кого с кем знакомить, кого с кем соединять. Значит, судьба нам с тобой было познакомиться, судьба – вместе ночь провести...

И она, успокоенная вдруг этими словами, но еще не решившая, что делать, сказала, чтобы прервать все эти разговоры и увести его из комнаты, туда, на люди:

– Я на рынок хотела сходить... Фруктов хочется... Овощей. А то в столовой у нас все каши да вермишель...

– Так пойдем, – с радостной готовностью сказал Павел. – Пойдем, я тебе помогу купить что получше, а то тут тебе такого впендюрят, и цену в два раза завысят, по тебе же видно, что ты отдыхающая и торговаться не умеешь.

– Я – не умею? – возмутилась почему-то она, возмутилась, как будто что-то обидное он сказал.

– Ты, ты, кошечка моя, – подтвердил он, и в глазах его

опять появились смешинки. – Ты женщина воспитанная, правильная, тебе торговаться – запаadlo, это – неприлично. Поэтому такие культурные, как ты, и покупают самое большое дерьмо...

И она поразилась его словам. Даже не грубости его, не этим ужасным выражениям. А тому, что правду он сказал. Правду. Потому что сколько раз замечала она на рынке, как подсовывают ей какую-то клубнику раскисшую, или лук сырой, или картошку полусгнившую. И всегда неловко ей было обращать на это внимание. И среди нескольких купленных пучков редиски один всегда оказывался маленький, тощий какой-то. Так и не научилась она перебирать, торговаться, права качать. Что давали – то и брала. И «спасибо» при этом говорила, как хорошо воспитанная женщина.

А вот он... Она посмотрела на него, на разворот плеч, скулы, шрам на скуле – и подумала: такого не обманешь, такому не впендюришь – что похуже. И сама удивилась, как легко она это слово повторила. И еще подумала: «Господи, вот и началось. Точно – с кем поведешься, от того и наберешься...»

...Рынок встретил их гулом голосов и яркими какими-то, экзотически смотревшимися грудями овощей и фруктов, И она – растерялась от этого масштаба красок, цен, предложений. Она растерялась, а он и тут был как дома. С кем-то здоровался и жал руку, кому-то кивал, узнавая, или махал ру-

кой. Громким каким-то голосом, не стесняясь, говорил:

– Почем черешня, хозяйка?

И гоготал, когда слышал цену, гоготал, как будто что-то смешное ему сказали. И говорил заговорщицки, наклоняясь к хозяйке:

– За такие деньги, кроме черешни, еще кой-чего нужно в нагрузку давать...

– Счас прям, тебе только давать... – гоготала в ответ «хозяйка», и он тоже смеялся, радостно гоготал:

– Конечно, нам, мужикам, только и нужно, что – давать...

И она, шокированная, оглушенная гоготом этим и словами этими, неприкрытым, неприличным заигрыванием, вдруг испугалась опять. Испугалась оттого, что поняла – да он ведь бабник.

И потрясенная этой мыслью, остановилась, потому что с ужасом вдруг осознала: да у него этих женщин тьма. Он их десятками снимает...

И мысль эта вдруг не просто окатила ее холодной водой. Ей показалось вдруг, что она на секунду просто умерла от этой мысли, потому что только тут она подумала: «Господи, да я ведь могла от него заразиться чем-то! Господи, да я же могла от него заболеть... Господи... Господи... Господи...»

И от ужаса этой мысли, стала она читать про себя молитву, нервную какую-то, бестолковую: «Господи, спаси и сохрани! Господи, милостивый, не дай мне заболеть! Господи, милостивый, спаси и сохрани! Господи, огради!.. Огради, Госпо-

ди...»

И он, заметив ее какую-то отстраненность, обнял ее рукой за плечи, прижал к себе и сказал заботливо:

– Ты чего, Надюш?.. Чего загрустила?..

И она посмотрела на него, как на чудовище, и дернулась было из его рук, но он, как будто догадавшись, что мысли у нее плохие, опасные, – только крепче прижал ее к себе. И она трепыхнулась еще раз и с ненавистью какой-то посмотрела на него, краснея оттого, что чужой здоровенный мужик обнимает ее на глазах у всего рынка.

И сказала:

– Пусти меня... Отпусти...

– Ни за что – ответил он тихо. И повторил для убедительности: – Ни за что... – И, держа ее крепко в руках, как бы показывая силу своего решения, добавил: – Я тебя нашел – и уже не отпущу...

И у нее от отчаяния какого-то, от бессилия собственного даже плечи в его руках поникли, как будто воздух весь из нее выпустили. Только головой она замотала в ответ на его слова, как будто прогоняя их. А он, глядя на нее как-то настойчиво, проникая в глубину ее глаз, сказал проникновенно:

– Я понимаю, непривычно тебе все это. Ты женщина хорошая. Приличная... Боишься ты, подвоха какого-то ждешь... Но – подлецом я никогда не был. Сидеть сидел, не отрицаю... Но подлецом – никогда...

И, взяв ее за плечи, отступил на шаг, как бы давая ей сво-



боду, не сказал – запел, неожиданно для нее:

– Не надо печалиться... Вся жизнь впереди...

И тепло как-то, осторожно, взял ее лицо в свои руки и, глядя ей в глаза, сказал убежденно:

– Относись к жизни проще, Надь. Что случилось, то случилось. Чему быть, того не миновать... И – не грусти, Надь. Не грусти... – сказал он уже совсем другим, каким-то радостным тоном. – Грустить – это последнее дело, Надюш... Я это точно знаю... Никогда не надо сопلي распускать. Всегда надо верить, что все будет хорошо...

И почему-то слова эти вдруг успокоили ее. И интонация. И даже не шокировало ее грубое его «сопли распускать». Что-то было в его словах или взгляде хорошее, надежное, и забылись вдруг в одну минуту все страшные мысли...

И подумалось ей как-то вскользь, легко: «Сейчас все лечится...» И – добавила она самой себе: «Все будет хорошо... Все будет хорошо...»

И подумала – на все Божья воля. Даст Бог, освобожусь я от него...

И пошла уже рядом с ним по рынку спокойная. И только головой качала, видя, как торгуется он, как выбирает лучшие, крепкие помидоры, как – отсеивает мелкие ягоды клубники, как с какой-то купеческой щедростью кладет на весы огромную гроздь винограда, берет с подноса толстую связку чурчеллы. И только деньги отдавал он, доставая смятые бумажки из кармана брюк.

– Куда столько?.. Не надо так много... – говорила она иногда.

Но он только улыбался в ответ, привлекал ее к себе и шептал заговорщицким тоном ей прямо в ухо:

– Деньги – мусор, Надя... Деньги – шелуха... Никогда денег не жалея, слышь, никогда... Жалеть деньги – последнее дело... Есть деньги – трать... Радуйся жизни... – И повторил: – Ра-дуйся... Потому что в этом весь смысл жизни. А деньги – появятся деньги, куда они денутся... Бог даст, появятся...

И опять поражалась она правильности его слов. И тому, как легко он обо всем говорил. И опять подумала она: «Он везде – хозяин. А я – так, скромная гостья...»

И посмотрела на него с уважением. И с опаской. Потому что – другой он какой-то был. Другой.

И подумала тоскливо, что он вообще всю ее жизнь скомкал – уже скомкал. И – следа не осталось от ее правильной и простроенной жизни. Потому что – как только появился он – забыла она и о расписании, и о салфетках, и о Тургеневе.

И подумала опять – нужно как-то от него отвязаться. И тут же сама себе сказала – отвязешься от него, как же. И подумала с отчаянием, обращаясь туда, в небо:

– Господи, за что ты мне его дал?.. Зачем он мне?.. И что мне с ним делать?..

И опять подумала – ничего мне с ним не делать. Нужно как-то прекратить все это. Закончить. Того, что было – с лих-

вой хватит, чтобы до конца дней со стыдом вспоминать.

И мелькнуло все то же воспоминание: «Наподдай, Надя, наподдай моя кошечка...»

И – шлепок по ее заду...

И – зажмурилась она и даже остановилась и головой помотала – все бы она отдала, чтобы этого не было. Но это было.

«Это» – шло рядом с ней. Шло и улыбалось, таща сумку с овощами и фруктами, и только весело подмигнуло Наде, заметив ее потерянный какой-то взгляд, как бы говоря – не грусти Надюх, нет причин для грусти....

Она репетировала эту фразу с того самого момента, когда вышли они с рынка. Она повторяла и повторяла эту фразу. Повторяла ее в разных вариантах, с разными интонациями. И повторяла и повторяла, как будто заучивала, и, когда подошли они к пансионату, она набралась смелости и произнесла ее наконец:

– Павел, ты не поднимайся, я сама... Я хочу одна побыть. Мне отдохнуть надо...

– Да ты что, Надюш... Ты что, моя кошечка, день такой солнечный, а ты – в комнате сидеть... – возмущенно как-то, с какой-то детской обидой в голосе сказал он. – Насидишься еще зимой... Жить надо, Надюш, сейчас. Не потом, – убежденно сказал он. – Сейчас!.. Именно сейчас... – И добавил непрерываемым тоном: – Сейчас все наверх отнесем – и на пляж. К морю, к солнцу..

И пропел он опять громко дурацким каким-то голосом:  
– К моооо-рююю... К соооолн- цуууу...

И она опять смутилась от этой его свободы петь, говорить, хохотать, что только головой кивнула обреченно – чего уж тут, пойдем...

Он зашел в ее комнату хозяйским шагом, и опять подумала Надя удивленно: «Он везде чувствует себя хозяином – в ресторане и на рынке. Он всюду ощущает себя главным... А я?..»

И она удивилась тому, что она, воспитанная культурная женщина, закончившая с красным дипломом университет, защитившая докторскую диссертацию, – везде чувствует себя неловко, неуверенно, как бедная родственница. Все боится кого-то побеспокоить, кому-то причинить неудобства.

И увидела она вдруг себя такой правильной, такой чинной и такой – неживой, и такой – неприспособленной. «Не пришей к пи-де рукав» – вспомнила она вдруг незнамо где услышанное выражение и ужаснулась, что оно вдруг всплыло в ее памяти. И подумала тут же: вот он, результат общения с уголовником...

И посмотрела на него. Он стоял так же уверенно, по-хозяйски расставив ноги и раскинув руки по перилам лоджии, и рассматривал вид, расстилавшийся перед ним.

Потом, как бы почувствовав ее взгляд, повернулся к ней, улыбнулся, и пошел к ней. И она – испугалась, и руки выста-

вила, потому что поняла – он сейчас обнимет ее, и опять не дай Бог что произойдет между ними. А нельзя было больше этого допустить. Нельзя...

Но он обнял ее, преодолев слабое ее сопротивление. И сказал тихо и удивленно, как будто странно ему было, что она преграду какую-то выставила:

– Надюш, да ты чего – как не родная... Как будто у нас ничего и не было...

И хотела она сказать ему – в том-то и ужас, что было, в том-то и кошмар, что было. И – больше такого быть не должно...

Но – ничего не сказала. Ничего. Потому что – что ее слова могли изменить? И – заплакала она вдруг. Заплакала, как ребенок, навзрыд. От бессилия собственного. От того, что все – было. И есть синяки на коленях. И ощущение греха. И ужас от того, что все это будет продолжаться.

И он – растерялся. Растерялся от ее слез и обеспокоенно говорил:

– Ну что ты, моя кошечка, ну что ты... Ну, чего мы плачем?... Ну, иди ко мне... Иди ко мне...

И – усаживал ее к себе на колени. И стул под ними скрипнул.

А он все говорил:

– Ну, что ты... Что такое...

А она – только головой качала и плакала, и слезы ладошкой размазывала, и не заметила, как интонация его изме-

нилась, и уже не заботливой она была, а какой-то осторожно крадущейся:

– Ну, иди ко мне девочка, иди, моя кошечка, я тебя сейчас успокою... Иди, моя девочка...

И – приподнял ее со своих колен. И опять посадил, но перед этим как-то властно ей ноги раздвинув, так что оказалась она плотно сидящей на нем. И тут же почувствовала она его эрекцию и – даже испугаться не успела, что сейчас все опять произойдет, – как все и начало происходить.

Потому что руки его пробрались к ней под сарафан, и она, дернувшись, чтобы убрать его руки, приподнялась, но только прижала свою грудь к его лицу, и поцелуй его, жадные и какие-то дикие, в обнаженные ее плечи, в грудь обожгли и возмутили, и все ощущения ее с этого момента были какой-то странной и непонятной смесью ужаса и дикого возбуждения, возмущения его наглостью – и таким переживанием сладости, потому что ничего и в помине не было в его движениях от осторожности и размеренности, пресности, которая всегда была у мужа.

Он просто приподнял ее и что-то совершив руками под ней, на ней, – опустил ее на себя, просто насадил на себя, и уже – была она в его власти. И слезы ее тут же прекратились, потому что – не до слез ей было.

И как будто со стороны увидела она эту картинку: как среди бела дня, с открытой дверью на лоджию, куда доносились все звуки из комнаты, приподнимаемая и насаживаемая

мощными движениями рук, – женщина танцует на мужчине, и – нет никакой свободы, есть только подчинение его властным движениям, и скрип стула, скрип стула, скрип стула...

И дикие эти, какие-то неприличные движения, животные и сильные – уже не возмущали ее, а просто стала она частью этих движений.

И уже сама, без его рук, – танцевала на нем этот дикий, первобытный какой-то в своей откровенности танец. И – не было ей стыдно...

И когда закончился дикий этот танец, подумала она вяло, расслабленно:

– Он такой дикий, такой животный, что вся моя воспитанность и правильность как шелуха слетает...

И подумала:

– Раз слетает – значит, правда, – все это – шелуха...

...Пляж был забит народом плотно, как будто уложили людей по какой-то жесткой разрядке – от тела до тела не больше нескольких сантиметров. И она даже растерялась сразу – куда тут пристроиться, затормозила было, вертя головой, но Павел взял ее за руку и властно повел за собой к одному ему видимой цели. И привел ее на небольшой пятачок среди тел, там двоим не то что лечь – сесть не хватило места. И она посмотрела на него удивленно, а он только шепнул:

– Сейчас фокус увидишь... Я сейчас рубашку сниму – и

все сразу расплзутся... Вокруг нас сразу пустой круг образуется, минимум на метр... Спорим?..

Но она не стала спорить. Чего с ним спорить. Он всегда был хозяином положения, это она про него уже поняла. Раз сказал, что все расплзутся – значит, все расплзутся...

И он действительно рубашку снял, и сел на пяточок этот и – спиной повернулся, и несколько раз как-то телом подвигал, будто спину свою всем показал. И она тоже спину его увидела. И – ахнула. Потому что на спине его в лучах солнца отливали синие татуированные купола. Пять церковных куполов занимали всю его спину и были выполнены так художественно, как будто и не на коже были выколоты, а краской нарисованы.

И она, удивленная этим зрелищем, пролепетала только:

– А почему – церкви... Ты что – верующий?

– Эх, Надежда, Надежда, – укоризненно покачал головой Павел, – образованный же человек, а таких элементарных вещей не знаешь!.. И чему вас только учат в ваших институтах... Совсем вы оторваны от реальной жизни... Пять ходок у меня, – сказал он с интонацией, с которой взрослые говорят с бестолковым ребенком, втолковывая ему понятные им самим азы. – Пять ходок...

И пропел как-то театрально:

– Пять хооооодок у меняяая... Пять хооооодок...

И только тут Надя и заметила, – что вокруг, метра на полтора – ни души. Точно – в пустом кругу оказались они. Толь-



ко шли, подыскивая себе свободные места, несколько человек по пляжу...

И – смешно ей стало. Так смешно, истерически смешно стало ей, так нестерпимо, неврастенично стало ей смешно, что она, Надежда Петровна, доцент, доктор наук, преподаватель престижного вуза, сидит в этом кругу с уголовником, сделавшим «пять ходок».

И так дика была эта картинка, так невозможна, так противоестественно и так страшно реальна, что начала она смеяться, и смеялась, и смеялась, как будто замкнуло в ней что-то. И даже не думала – прилично это или неприлично – так громко смеяться. Какие тут приличия, когда сидит она с уголовником в пустом кругу, как отверженная, как прокаженная...

А он никак не отреагировал на ее смех. Просто дал ей отсмеяться, дождался, когда отзвучали последние спазмы смеха, и сказал, спокойно, миролюбиво как-то:

– Правильно, Надюш, правильно... Так и надо к жизни относиться... Легко надо к жизни относиться. Чем легче ты к ней относишься, – тем легче она становится...

И она ничего ему на это не ответила, только по сторонам посмотрела да плечами повела – неуютно ей было в этом кругу.

И он вдруг снизил голос до шепота и сказал ей горячо, как будто что-то важное хотел сказать только ей, только ей одной. Какой-то большой секрет раскрыть, который она не

знала, но обязательно должна узнать:

– Тебе важно, что думают о тебе другие? Что думают о тебе люди, которых ты не знаешь и которые тебя не знают? Тебе это важно?..

И, не дождавшись от нее ответа, продолжил:

– Да это все лажа, Надя. Лажа... Дешевка все это – чего они там думают...

И сказал уже как-то зло, жестко:

– Да пусть думают, что хотят... Пусть смотрят, пусть осуждают, пусть обмусоливают – пусть делают, что хотят... Только мне на все это, Надя, насрать... Насрать мне на это, Надя, с высокой колокольни... Пусть в своих говняных жизнях разбираются...

И помолчав, глядя ей в глаза, сказал уже тише, и даже с добротой в голосе:

– Понимаешь, Надюш, если ты думать будешь – что о тебе подумают да что о тебе скажут, ты никогда свободным человеком не будешь. Никогда. Это я за свою жизнь твердо уяснил...

И, помолчав, сказал уже совсем серьезно:

– Страх убивает жизнь, Надежда...

Он сказал это и, взяв ее за плечи, встряхнул, как будто хотел, чтобы слова эти глубоко вошли в нее.

И добавил:

– Жить надо, а не бояться, Надя... Жить надо... А жить – это значит – делать, без оглядки на других то, что ты хочешь

делать. Петь – если хочешь петь... Танцевать, если хочешь танцевать... Любить – если хочешь любить...

И, посмотрев по сторонам, уже не снижая голоса, как бы желая, чтобы его услышали, сказал:

– И пусть они, мертвые, которые боятся жить и все по сторонам посматривают, не скажет ли про них кто-то чего-то плохого, – завидуют...

– Поняла, Надюша? – сказал он уже совсем другим голосом.

И она ответила тихо:

– Поняла.

И хотела сказать еще, что сама она такая мертвая, что всегда так и жила, поэтому сейчас ей очень сложно... Но не сказала. И посмотрев по сторонам, на людей, тоже искоса, с любопытством посматривающих на них, подумала вдруг:

– Ну и пусть смотрят... Мне какое дело... Мне – насрать...

И повернулась к нему, и улыбнулась ему как-то кротко. И он привлек ее к себе, поцеловал куда-то в висок, и сказал громко:

– Вот и вся правда жизни – живи, пока живой!.. Живи, пока на воле, – потом поздно будет...

...Они уже собирались выходить из воды, когда он сказал ей неожиданное:

– А ты на воде-то лежать умеешь?

И она только головой замотала в ответ. Где уж ей уметь на воде лежать, когда она и плавать-то кое-как умеет, и далеко от берега никогда не уплывает. И глубины боится.

И не успела она ему этого сказать, как потащил он ее за руку обратно в воду, туда, на глубину, и сказал требовательно:

– Ложись!

А она уперлась руками ему в грудь, держась за него и боясь ногами дна не достать. И головой замотала. И запричитала:

– Ой, не надо, не надо... Я не умею... Я не хочу...

Но он – только захохотал, и, руки ее от себя отцепил, и на воду начал класть – и она забилась в его руках, как рыба, боясь уйти на дно.

И он прижал ее к себе, над водой ее подняв, прижал сильно, чтобы почувствовала она себя в безопасности, и, когда поняла она, – что больше в воду ее не окунают и слушать уже смогла то, что он ей говорит, сказал спокойно и миролюбиво, как маленькому ребенку.

– Никогда не надо ничего бояться... Ну, чего ты боишься, кошечка моя?.. Чего ты боишься...

– Боюсь утонуть... Захлебнуться боюсь... Я глубины боюсь... – наконец-то высказала она свой самый важный аргумент. И для убедительности добавила: – И воды боюсь...

И тогда он отстранил ее от себя, все так же крепко держа в своих сильных руках, отстранил, как бы желая ее получше

со стороны рассмотреть. Потом опять к себе прижал и сказал проникновенно и удивленно:

– Господи, ну это же надо – сколько страхов в одном человеке?

И сказал уже совсем другим тоном, уверенным каким-то, как будто изрек глубокую истину:

– Все страхи – это выдумка твоего ума, Надя... Бояться не надо... Надо просто делать...

И добавил:

– Вместо того, чтобы бояться, нужно просто делать...

И сказал уже легко, даже весело:

– Ложись, девочка... Ложись, моя кошечка... Ложись похорошему...

И она легла. Легла, потому что поняла – не отстанет он. И потому что поверила вдруг ему. Просто поверила рукам этим, что они не уронят ее, не отпустят. И – на руки эти откинулась, и услышала только:

– Ты рукам моим отдайся и расслабься... И не бойся ничего...

И она – отдалась. Просто на воду легла, и даже рук его под собой не почувствовала.

Почувствовала только, как вода приняла ее ласково, и тело ее стало невесомым и легким. И она даже глаза закрыла, чтобы ощущением этим насладиться.

И так и лежала на его руках.

И не боялась ничего.

Потому что держал он ее.

И вода ее держала.

И такое это было наслаждение – невесомость собственная и легкость...

И – небо над головой такое глубокое и далекое, когда глаза открываешь...

И чайки там, над тобой проплывают...

И – снова можно глаза закрыть и просто быть невесомой...

И чувствовать себя – водой... Или водорослью – послушной воде... Или рыбой, частью этой воды...

Или ощутить вдруг совсем неожиданное: почувствовать себя частью этой границы, между водой и небом. Как будто ты – часть воды и ты же – часть неба. И через твоё тело – соединяются они друг с другом...

И так все это было хорошо, что лежала она на его руках и улыбалась...

И потом, уже лежа на песке, подставив всю себя солнцу, лежала и улыбалась.

И думала с благодарностью:

– Хороший он, Павел... Хороший...

День был солнечный, яркий, необычный какой-то был день. Или – казался он ей таким необычным. Потому что – необычное что-то происходило с ней. Необычное и нетипичное. И все, что произошло с позавчерашнего дня – было

необычным и непонятным, и волнующим, и тревожным, и опасным, и сладким, и – невероятным. Но все это было. И встреча их странная, и ночь какая-то животная, безумная. И день – тревожный и смешной и опасный, и мудрый какой-то день, правильный. Потому что – правильно было это – руки его, которые ее поддерживали в воде, и доверие ее к этим рукам, которое она ощутила. И слова его о жизни – простые какие-то и правильные слова, против которых не поспоришь – потому что – с чем тут спорить.

И сегодня, когда пришли они на пляж, и он снял майку – образовался вокруг них пустой круг. И – смешно ей стало. Потому что – так глупо это – по внешнему виду о человеке судить.

Но, смутилась она сама от своих мыслей, потому что еще два дня назад наколок его испугалась, испугалась, что он – уголовник. А какой он уголовник? Разве уголовники такими бывают? И она задумалась, было – а какие бывают уголовники, и – не могла ответить. Потому что – Бог их знает – какие они. Может, он и есть самый настоящий коварный и жестокий уголовник...

И – спокойно ей было сегодня на душе. Спокойно. Потому что – приняла она все это. Просто приняла как испытание и подумала она – на все воля Божья, видно, нужно мне это испытание пройти – с этим человеком понять что-то...

Еще вчера, когда ушли они с пляжа и ходили долго, просто гуляли, просто молчали, или – смеялись чему-то, что ка-

залось смешным им двоим, поняла она: раз послал ей Бог этого человека, значит, есть в этом какой-то высокий Божий замысел. А зачем послал, и что должна она понять – время покажет.

И смирилась она со всем происходящим. Смирилась и приняла все происходящее. Поэтому, когда он к дому своему повернул и ее за плечи приобнял – ничего не сказала. Просто пошла с ним. И была покорной и послушной. И он, как бы смутившись от покорности ее и послушности, был с ней другим. Нежным каким-то и медленным.

И спать легли они рано. И заснули в объятиях. И так чудно было ей утром проснуться в его объятиях, и удивилась она – не мешали они ей спать. Не мешало ей спать присутствие другого человека.

А ведь всегда не высыпалась она с мужем на тесной их кровати. И потом, когда купили они двуспальную кровать, раздражало ее, когда муж во сне на нее руку или ногу закидывал.

А тут – всю ночь они переплетенные телами спали – и так сладок был этот сон. И утром он любил ее. Любил сильно, бурно, и кровать эта панцирная вся ходуном ходила, и она подумала было, что мамаша, как он звал свою мать, услышит этот шум, но только недолго она об этом думала – опять что-то живое, сильное в нем, завело ее, и была она неожиданной для себя. Да, впрочем, уже мало она чего соображала...

Она посмотрела на него, а он встретил ее взгляд открытой



своей улыбкой. И потянулся, и сказал:

– Ну что, Надюха, что, моя кошечка, – пойдем тела оку-нем... Пойдем взбодримся...

И она только головой кивнула согласно. Потому что куда он, туда и она. Раз уж выбрала она смирение – значит, будет смиренно все принимать.

И они купались, долго плескались в воде. И он опять держал ее на своих руках, и она отдаваясь этим рукам, переставала чувствовать свое тело, как будто становилась она в его руках невесомой.

И – странно ей было: всю жизнь она все только и делала, чтобы быть весомой, важной. И училась на отлично, и диплом защитила лучше всех, и докторскую написала прекрасную, и везде она была уважаемой, и почитаемой, и авторитетной. И – столько лет нужно было эту весомость создавать, чтобы понять, что счастье – это просто когда ты лежишь на воде на любимых руках и чувствуешь свою невесомость.

И она сама даже не заметила, как подумала она это – на любимых руках. Хотя – чего было удивительно. Руки эти ее любили. И она их уже любила. И – как можно было не полюбить такие руки? Мужские это были руки. Сильные. Властные. Умелые. И что – что с наколками... Кому эти наколки мешают...

А потом – они сидели за столиком в пляжной кафешке под огромным зонтом, отбрасывающим оранжевую тень на их лица, и пили пиво. И было это вкусно.

Было вкусно пить холодное пиво которое она никогда не пила, считала плебейским напитком. И вкусно ей было само ощущение, что делает она что-то неправильное, потому что – надоело ей быть правильной. Вот была она всегда правильной, правильной, правильной, воспитанной, культурной – и что с того? Что хорошего?

Прав был Павел, она со своей воспитанностью пучок редиски нормальной купить не могла. С мужиком полжизни прожила, а что такое быть женщиной – так и не узнала.

И она покосилась на Павла и подумала, впервые за эти дни подумала с благодарностью: «Господи, спасибо, что ты дал мне его. Что я хоть узнаю, как это – любить... Как это – женщиной быть...»

И улыбнулась.

Потом им принесли целое блюдо вареных раков, и Павел учил ее правильно есть раков. И со смехом, как глупенькой девочке, объяснял, как надо раков покупать, как не быть обманутой.

И она слушала его и хохотала, и наваливалась грудью на край стола, и – откидывалась в пластиковое кресло. И не шокировали ее больше какие-то его слова, приклатненные, что ли, потому что – не это ведь главное. Был он – хорошим. Вот что было главное. И было с ним – хорошо.

А он, распаленный солнцем, и тем, как она его слушает, говорил громко:

– И вот этот фраерок идет по пляжу и вареных раков про-

дает, и я у него беру пяток, и что я вижу?..

И, не дожидаясь ответа, продолжал:

– А вижу я, Надюш, что хвост у одного рака ниткой привязан... Нет, в натуре, ты представляешь?

И она, отхлебывая пиво, увлеченно кивнула ему головой, и он продолжил:

– Этот фраер поганый дохлых каких-то, тухлых раков наварил. А чтобы хвост при варке согнутым остался, – ниткой его привязал, а нитку оторвать – забыл... Ведь каждый нормальный человек знает: когда раков варят, их живыми в кипяток бросают, вот они при варке хвост и поджигают, так и определяют, что рак был свежим. А он что надумал – хвосты нитками подвязывать...

– И что, – спросила она его, понимая, что история на этом не заканчивается. – Что было-то?

– Что было? – задумчиво и вроде бы уже серьезно повторил Павел. – Что быыыыло, то быыыыло, травой пооооросло... – пропел он.

И помолчав добавил:

– А было, Надя то, что я этому фраеру этих раков его по его морде и размазал...

– И? – испуганно сказала она, понимая, что этим тоже все не закончилось...

– И фраеру это не понравилось. Не понрааавилось это фрааааеруууу – опять пропел он. И добавил уже как-то скромно: И кончилось это хорошей драчкой на набережной,

когда он с дружками мне повстречался... И дружки-то подлючие, мелкота пакостная, на одного поперли... Ну, как говорится, кто прошлое помянет, тому глаз вон... – добавил он и улыбнулся, как будто подошел к самой веселой части своего рассказа.

– А в драчке этой я ментяру одного зашиб. Не сильно, случайно, но от факта не уйдешь – налицо причинение телесных повреждений представителю власти... – уже серьезным голосом, как будто приговор читал, проговорил он. – И – дали мне положенные за это четыре года... – А все почему, Надюх? – добавил он после небольшого молчания. – Потому что много я знал... Знания – вот что портит жизнь человеку, Надя, добавил он уже весело. – Не знал бы я ничего про этих раков – разве стал бы я этому фраеру морду мылить этими же раками? Сожрал бы их за милую душу – и делу конец. Знания – не сила, Надюш... Знания – зло! – добавил он патетически.

И сказал совсем уж весело:

– Так что, Надюш, забудь все, что я тебе рассказывал. Не нужно тебе это знать...

И она – улыбнулась ему в ответ. Потому что – действительно, зачем ей это знать. Разве это что-то изменит?

И потом, лежа на полотенце, подставив солнцу всю себя, думала она о его словах, как много знала она, Надя, Надежда Петровна, доцент, преподаватель престижного вуза – и что с того? Что – знания ее – сделали ее счастливой?

И подумала она – так много знала она правил, что можно и что нельзя делать, какой надо быть, как себя вести – что совсем перестала уже быть свободной, быть – живой. А он вот – она посмотрела на Павла, на спину его, на которой под солнечными лучами синим цветом отливали купола церкви – он никаких правил не знает. Он – дикий. И – свободный. И – живой. И – интересно с ним. И – хорошо...

Но, помолчав, – спросила все же то, о чем захотелось ей спросить:

– Павел, а что не мог ты – не размазывать этих раков... – И, поймав непонимающий его взгляд, пояснила:

– Ну, объяснил бы этому, как его, фраерку, что – нехорошо так...

И он, поняв, о чем она, – расхохотался звонко, как будто что-то очень смешное она сказала. А потом сказал серьезно, как истину втолковывая:

– Я – не мог... Не мог я, Надюш. Это ты, Надя, начала бы ему лекцию читать о том, что такое хорошо, а что такое плохо. А я лекций читать не умею. Я – сразу в морду...

И подумала она: да, он сразу – в морду. Поэтому и пять ходок у него, что не умеет он объяснять, что – хорошо, а что – плохо...

...Море заволновалось, и незаметно как-то небольшие еще волны переросли в крутые, сильные. И странно это было – такое было спокойное море, такое ровное, и вдруг – шторм.

Они сидели на берегу, в нескольких метрах от кромки моря. И мелкие брызги, мокрая соленая пыль окатывали их от волны до волны. И – хорошо было вот так сидеть. Просто сидеть молча и смотреть на эту силу, эту стихию.

Но – недолго они так просидели, потому что Павел вдруг поднялся, взял ее за руку и сказал:

– Пойдем, Надь...

И она не спросила, куда. Потому что не нужно было ему ее согласия, это она про него уже поняла. Везде он был хозяином. И с ней тоже чувствовал себя хозяином. И – нравилось ей это, нравилось, если быть честной.

Они подошли к молу, который уходил далеко в море и о который разбивались, разлетаясь в миллионы брызг, волны. Красивым был сейчас этот мол, красивым, весь в перекатах волн, которые стекали с него, уступая место другим волнам. Казался он живым, играющим с волнами. И Павел повел ее туда, – в конец мола, выступающий в море.

А она – сразу затормозила, остановилась и даже головой замотала – не пойдет она туда. Ни за что не пойдет.

И сказала:

– Павел, ты что, с ума сошел? Я не пойду туда... Там – страшно...

И он засмеялся, засмеялся радостно, как будто опять сказала она что-то очень смешное.

– Страшно... Ты не заешь, кошечка моя, что такое страшно... Разве это страшно?.. Это – не страшно. Это – прекрас-

но. Это – сильно. Это – свободно... Вот я и хочу, чтобы ты эту свободу почувствовала...

И властно, сильно потянул ее за собой. И она – шаг сделала, потом еще, потому что просто боялась, что если упираться начнет, то точно – поскользнется на мокром этом валу и свалится в море.

И пошла – осторожно, как бы цепляясь ногами за любую неровность мола, шла и причитала:

– Павел... Ну, Павел... Ну, Павлик... Я боюсь... Я боюсь...

И слышала только:

– Не бойся, девочка, я с тобой, я тебя держу. Я тебе упасть не дам...

И остановился он неожиданно, прижал ее к себе и сказал:

– Ты поймай кайф от этого, Надя. Поймай кайф... От риска этого... Да самый кайф в жизни в том и состоит, чтобы по краю ходить. Понимаешь? Пройти по краю – и не сорваться. Устоять. В этом – самый смак... А спокойная эта, ровная жизнь, без риска, без страсти – это не жизнь. Это – болото. И не гоже человеку – в болоте жить...

– Пошли, – сказал он ей, как скомандовал. И она – пошла, потому что поняла опять – не отпустит он ее. Если уж что ему в голову втемяшится, все равно будет так, как он решит...

И – страшно это было. И – сильно.

Страшно это было и сильно – делать шаг, ощущая под но-

гами играющую, сильную, стекающую волну, – и не падать. И делать следующий шаг. И – ждать следующего удара. И быть мокрой от брызг, от мокрого ветра – и делать следующий шаг. И рука его держала крепко. И она шла за ним, уже зная, что дойдет. Дойдет до конца мола. И не заметила, когда перестала бояться.

Просто делала шаг за шагом по играющим под ногами волнам. И – шла смелее. И даже под ноги перестала смотреть, а туда – вперед, в море, в красоту его, в белые, сильные гребни волн глядела.

И когда он остановился и ее к себе прижал, поняла она, что значит этот кайф испытать. Стояли они как будто в самом море. Перед ними оно расстилалось, играло, силу показывало. И ветер дул им в лица – мокрый, весь в брызгах. И был в этом кураж. И было это – здорово.

И он сказал ей громко:

– Фильм смотрела, про «Титаник», как там девчонка стояла на носу корабля?

И даже не дожидаясь ее ответа, выдвинул ее вперед себя. Обнял крепко сзади и крикнул как-то весело:

– Эх, Надюх, почувствуй, как летишь ты... Руки раскрой...

И она – раскрыла руки. Вверх их подняла и развела в стороны.

И мысль мелькнула – как она смотрится, что о них люди думают, которые с берега шторм наблюдают. Скажут, ненор-



мальная какая-то стоит, из «Титаника» героиню изображает...

Но тут же – исчезла эта мысль. Потому что – руки она раскинула – и оказалась один на один с морем, ветром, волнами, брызгами. И так здорово это было. Такое удивительное это было, никогда не испытанное ощущение свободы, полета...

И он, держа ее крепко за талию, кричал ей в ухо:

– Лети, Надя!.. Лети!.. Лети, птица!.. – и смеялся...

И она – летала, руки раскрывала и поднимала их все выше и выше. И вся – ветру отдавалась, ветру и брызгам, и чувствовала себя ветром, и морем, и брызгами...

Они сидели на берегу, а в ней все еще парило это ощущение полета, свободы.

И думала она как-то свободно, легко, как будто все тяжелое и ненужное ушло из нее.

И думала, что вот тоже – жила она, как это море: ни волнения, ни шторма... И появился Павел – и начало ее штормить. И следа не осталось от спокойствия ее, и размеренности, и правильности, и воспитанности. И подумала – как хорошо, что не осталось.

И подумалось ей вдруг неожиданное:

– За ним – хоть на край света... Куда он – туда и я...

И – вспомнила дочь. И – улыбнулась.

...Жизнь ее с того дня стала другой. Как будто сняла она сама с себя какие-то свои запреты и правила. И перестала

быть хорошей девочкой. И стала просто такой, какая есть, – естественной и живой. И уже не думала она о смирении, о том, что на все воля Божья.

Просто – жила. Просто спала в его объятиях. Или занималась любовью. Вернее – любила. Потому что занятие любовью предполагает деловитость, что ли. А какая с ним могла быть деловитость, с ним – бесшабашным, безумным, вспыхивающим с полуоборота и не видящим никаких преград, границ, правил.

Поэтому любил он ее там, где хотел. Любил вечером у моря, и море шумело у их ног, и было сначала страшновато: вдруг – кто их увидит. Да только быстро из нее все страхи и мысли вылетали, когда он в нее входил.

Любил он ее под раскидистым каким-то деревом на набережной. И – где-то невдалеке проходили люди, и хоть и темно было, сначала она оцепенела от всего происходящего. Да только в его руках долго оцепеневшей не останешься...

А потом – что-то изменилось. Он ли стал тише, спокойнее, она ли – искреннее, открытее, – только могли они часами лежать на пляже в тишине. И он не балагурил, не ерничал, просто лежал и рукой своей по ее руке проводил. Или она склонялась над ним и легко, едва его губ касаясь, целовала. Или проводила рукой по его спине, над куполами церквей.

И ночи их стали другими. Просто больше тепла и нежности появилось в них. И иногда, просыпаясь под утро, она,

улыбаясь, смотрела на его голову, лежащую на ее плече, или на свою обнаженную руку, на которой уже играло лучами солнце, и он открывал глаза и улыбался, и тянулся к ней губами...

И проводили они вечера в кафешках за кружкой пива или бутылкой вина. Или в его времянке ели вареную молодую картошку, присыпанную укропом и нарезанным чесноком, и запивали это квасом, который «мамаша» приносила.

И мамаша эта не смущала Надю, потому что нормальная она была женщина. Тихая какая-то, ни во что не вмешивающаяся. Улыбалась всегда Наде кротко, как бы говоря: я что, по мне – вам хорошо, и ладно.

Ходили они иногда на танцы, и танцевали все подряд – и – это тоже было для нее открытием, каким-то новым приобретением в ее свободе.

Потому что танцевать она никогда не любила, да и не умела. Танцевала она, конечно, какие-то принятые танцы – вальс, например, или просто – медленный танец. Но вот быстрые танцы – всегда ее смущали. Не было в них никаких правил, не понимала она, – как их нужно танцевать.

И тут Павел опять ее удивил. В первый же раз, когда пришли они на дискотеку и заиграла жаркая латинская мелодия, она стушевалась, когда он за руку ее потянул:

– Не знаю я, не умею я этого танцевать... – только и успела сказать ему.

Только он – никакого внимания на нее слова не обратил.

Только и сказал:

– Не дрейфь, Надюш... Какие могут быть проблемы?.. Счас научу... – И взял ее в руки властно, и сказал: – Слушай мое тело и бедрами посвободнее виляй, как будто – оторванная ты...

И она, ошарашенная таким объяснением, начала послушно его движения повторять, а он только подзуживал ее:

– Свободнее, Надя... Свободнее... Оторвись... Верти задом, как будто у тебя зуд в одном месте...

И она, даже не поняв, в каком месте у нее должен быть зуд, расхохоталась, расхохоталась так, как он всегда хохотал – громко и свободно. И хохот этот как будто снял с нее какие-то зажимы, какие-то путы – начало ее тело двигаться свободно, и бедра – ожили.

И поняла она, что танцевать – это же очень просто. Нужно просто музыку слушать и телу давать волю, а тело – оно само знает, как танцевать. И она – танцевала. Танцевала, упиваясь свободой. И по сторонам не смотрела, чтобы увидеть реакцию других. Так всегда она делала раньше, потому что так важно было хорошо выглядеть. Чтобы другие чего не подумали...

Теперь – не парилась она такими заморочками.

– Да, насрать мне, что они там думают... – думала и продолжала танцевать.

А вечером – любила его этим свободным телом, в котором, казалось даже, плавность какая-то новая появилась,

гибкость.

И засыпала она счастливая. И просыпалась счастливая. И уже несколько дней, как просто перебралась к нему, во «временку», как называл он свой небольшой, просто обставленный домик. И поливала вместе с ним огород, и поражалась, как Павел говорил, – до поросычьего визгу – малюсеньким крепеньким, в пупырышках огурчикам – никогда она таких маленьких не видела, – с мизинчик. И Павел, видя ее детский восторг, говорил:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.